

ПОРТРЕТ ДРУГА*

У него была красивая внешность: стройная худощавая фигура, правильное словно выточенное лицо с тонким прямым носом и слегка выступающим подбородком; короткая стрижка подчеркивала изящную форму головы.

Наталья Александровна Чистякова называла нас два Аякса, потому что на факультете нас часто видели вместе, так во всяком случае казалось многим.

А началось все в 1965 г. с поездки в Крым на археолого-эпиграфическую практику студентов, руководил которой 27-летний ассистент Никита Виссарионович Шебалин.

Он сразу стал одним из нас, ко всем обращался на «ты». Я называл его Никитой, а он меня почему-то — Валюшей.

В том, что Шебалин сдружился с 20-летним студентом, не было ничего странного. По-другому и быть не могло. Он признавал только дружеские отношения.

Обладая врожденной интеллигентностью, он без особых усилий сходил с самыми разными людьми. Впервые появившись в моем доме, он тут же завоевал любовь моей матери. Нередко я заставал его в своей коммунальной квартире — сидящим за столом, не спеша потягивающим принесенное с собой вино — и хлопчущую рядом мать.

При моем появлении Никита радостно вздымал руки и широким жестом приглашал составить ему компанию. Иногда мне казалось, что это я у него в гостях, а не он у меня.

Он вел себя как изнеженный кот, уверенный, что все его любят. При всем том, был он неприхотлив (не гонят — уже хорошо), внимания к себе не привлекал. Бывало, как сядет на стул, так и просидит весь вечер, разве что выйдет покурить. Сидит, мурлычет что-то себе под нос. Никто его не трогает, не бранит.

* В основу статей о Н. В. Шебалине положены выступления на заседании кафедры классической филологии СПбГУ памяти Н. В. (2 апреля 2008 г.).

© В. С. Дуров, 2011

От разговоров на кафедральные темы и вообще о работе он уклонялся. Иной раз спросишь его о чем-то из латинской грамматики, а он в ответ только что и кивнет головой, в лучшем случае издаст звук, похожий на «хм», — этим и ограничится. Не любил он в минуты покоя и внутреннего уединения отвлекаться на всякие пустяки.

— Никита, — жалуюсь я, — Никита, опять эти русисты (некоторое время я учился с ними на русском отделении) сочинили на меня эпиграмму.

Если бы не едва заметное движение бровей, я бы не догадался, что, погруженный в свои мысли, он вообще что-то слышит. Но он явно ждет от меня продолжения.

«Напрасно Дурова растит профессор умный Аристид», — быстро проговариваю я.

«Хм» слышу я в ответ и не знаю, следует ли это понять как осуждение с его стороны или, наоборот, как одобрение.

Надолго устанавливается тишина.

...Молчание прерывает Никита:

— Лучше я тебе прочту свою новую басню о мужике и коне. «Мужик влезал в вагон трамвая, конёвым задом двери открывая. Мораль...» — Дальше следовала в таком же духе мораль.

Мы снова молчим.

«Причем здесь конёвый зад?» — ловлю я себя на мысли. Но дело сделано: я забыл о своей обиде.

Между тем Никита вовсе и не молчит, он что-то тихо напевает. А петь Никита умел. Да еще как умел! В студенческие годы он, чтобы избавиться от заикания, пел в университетском хоре. Он мог напеть любой романс, любую арию, будь то Чайковский или Верди. Но начинал всегда с марша булгаковских Турбиных.

Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!

Самое интересное впереди, нужно лишь дождаться припева. Никита резко дернет ногой, вскинет кверху руку и, как представлялось ему, грянет, а в действительности, пропоет вполголоса:

Лейся песня моя, юнкерская!
Буль-буль-буль бутылочка казенного вина!

Потом он с чувством произнесет таинственное слово «зетц» и вновь замолчит, но не надолго — через две-три минуты он уже опять что-то напевает.

Это... это — Вертинский.

Ну, подожди, ну, подожди, Минуточка.

Ну, подожди, мой мальчик-пай.

Подражая Вертинскому, Никита поет немного в нос и томно тянет: «Это вы-ы-думал глу-у-пый май».

Пока он в ударе я прошу его напеть куплеты из «Пиковой дамы».

«Мой миленький дружок, любезный пастушок», — с чувством выводит Никита и с отчаянием — дважды: «Ах, не пришел плясать!» — И дальше: «Я здесь, но тих и томен, смотри, как исхудал...» — И уже вместе мы заканчиваем: «Пришел конец мученьям...»

Музыкальный слух и любовь к пению у него наследственные. Его отец — В. Я. Шебалин — в свое время известный композитор, автор оперы «Укрощение строптивой», а один из братьев — альтист, играет в квартете Бородина.

Старший брат (он тоже живет в Москве) — вулканолог, доктор физико-технических наук. Когда по радио сообщают об очередном извержении вулкана на Сахалине или Курилах, Никита знает: его брат там.

В наших разговорах он нет-нет да упомянет о ком-то из своих братьев, но никогда не говорил о своей матери, с которой он жил в небольшой комнате на Фонтанке за Чернышевым мостом.

...Большую часть своего времени Никита проводил у друзей и на работе. В перерывах между занятиями он выходил на лестничную площадку и курил. Курил он папиросы «Север». В эти минуты Никита был суров и непрístupен. Никакой эмоции на лице. Лишь изредка взлетят брови — заметил кого-то в толпе.

На заседаниях кафедры мы садимся рядом. Происходящее Никите интересует мало. Он или читает какой-нибудь текст, время от времени делая в нем пометы, или мастерит из бумаги журавликов. Первый журавлик — мне. Стоит лишь потянуть его за хвост, как его голова и крылья приходят в движение. До конца заседания я к великой радости моего друга только этим и занимаюсь.

Остальных журавликов перед тем как идти домой Никита дарит коллегам и, конечно же, Гаяне Галустановне Шаровой. К Шебалину она относилась с нескрываемой нежностью: называла только Никитушкой. Впрочем, на кафедре его любили все, начиная с заведующего Аристида Ивановича Доватура, для которого он был Шебалинчиком.

Врагов у Никиты не было, однако некоторые люди могли его вывести из терпения. Он сердился, но как бы понарошку, не всерьез: мгновение — и уже остыл. Ни злобности, ни завистливости, ни тем более мстительности за ним не водилось.

Разумеется, как у любого человека, у него были недостатки. Например, он не всегда держал слово. Договоришься с ним о встрече, а он и не придет. Вскоре я уяснил — он и приходит-то вовсе не собиравшись, но не умел отказать: в его словаре не было слова «нет».

Скажешь ему: «Мы собираемся там-то. Ты придешь?» В ответ — короткое «угу». Вот и понимай это «угу», как хочешь: то ли «да, приду», то ли «да, понял». Но виноватым себя он все же чувствовал: старался потом задобрить какой-нибудь книжкой.

Со временем я счел за лучшее ни о чем его не спрашивать. Пусть первый шаг остается за ним.

Иногда, по воскресеньям, он звонил мне по телефону и предлагал пройтись с ним по городу. Мы отправлялись куда-нибудь к Неве, на Марсово поле или в Летний сад.

Город Никита знал как свои пять пальцев и охотно рассказывал о зданиях, улицах, мостах, парках. Когда-то он хотел поступить в Академию художеств, чтобы выучиться там на архитектора.

— Давай пройдем мимо дома четырех Никол. — Заметив мое недоумение, тут же поясняет, — это дом на углу улицы Некрасова и Литейного проспекта, в нем жили Некрасов, Добролюбов, Фигнер и Пирогов — все четверо — Николаи. Обрати внимание на мемориальные доски.

Хотя и не скоро, мы добираемся до Марсова поля, отыскиваем свободную скамейку и устраиваем продолжительный перекур.

— А это вот дворец Бецкого. — Никита указывает на здание перед нами.

— Странная фамилия.

— Он внебрачный сын графа Трубецкого, поэтому получил лишь часть фамилии своего сиятельного папаши. — Он говорит именно так — папаши, а не отца.

С ономастикой Шебалин дружит. Как-то в разговоре я упомянул писателя Короленко. «А ты знаешь его отчество?» — тут же встрепенулся он. — «Знаю. Галактионович». — Никитины глаза теплеют.

Ему нравится все уходящее, старинное: исчезающие из нашего употребления вещи, устарелые слова, такие, как канцелярские ластик или гуммиарабик. Может быть, поэтому рядом с ним чувствуешь себя так покойно — ничего разрушающего, агрессивного. Но и новое он не отвергает. Ценит творчество «обэриутов»: стихи К. Вагинова, Д. Хармса, Н. Заболоцкого.

В теплые дни мы всегда заходим в Летний сад. Здесь не жарко, много тени; почти не слышен шум машин и трамваев. Мы садимся за столик за спиной чугунного Крылова и пьем из кружек пиво. В голове сами собой складываются стихи: «Хорошо за кружкой пива где-нибудь часам к шести разговор неторопливый с другом близким завести».

Но разговор не клеится. Никита оживленно вертит головой, всем своим видом показывая, как он рад, что оказался тут, среди деревьев и мраморных статуй.

Со стороны Инженерного замка доносятся звуки музыки. В саду еще не снесена беседка, и по воскресеньям в ней играет духовой оркестр. Мазурки и вальсы звучат чуть ли не целый день. Сама обстановка располагает к поэзии. «Хорошо, предавшись неге, созерцая пышный вид, представлять, что сам Онегин с полной кружкой сидит».

Музыка, пение, архитектура — далеко не все увлечения Шебалина. Он — неутомимый исследователь «Слова о полку Игореве». О нем он думал постоянно. Как филологу-классику, ему было доступно особое видение древнерусского текста.

Свои наблюдения Никита записывал на случайных клочках бумаги, которые хранил в карманах пиджака. Много интересного я услышал от него об этом произведении.

Мы оба преподавали на вечернем отделении филфака и после занятий вместе возвращались домой по Невскому проспекту. Мы доходили до Екатерининского сада — дальше Никита шел по ули-

це зодчего Росси, а я — через Фонтанку на Литейный проспект, но иногда мы расставались у Аничкова моста, отсюда до дома нам уже рукой подать.

Зимой, когда темнеет рано и трещат морозы, ни мне, ни ему было не до прогулок. Но мы часто встречались на экзаменах по античной литературе. Помню его сидящим в морозный январский день в большой холодной аудитории факультета журналистики. Отопление не работает. Никита, в перчатках и наброшенном поверх плеч пальто, как всегда, невозмутим.

Он был не из тех, кто экзаменует с пристрастием. Более того, он делал все, чтобы помочь студентам. «Двоек» он принципиально не ставил. Если видел, что студент с вопросом не справляется, начинал отвечать за него сам. Так что на экзаменах он постоянно говорил, правда, тихо, едва слышно для других.

Не намного громче звучал его голос, когда он выступал на кафедре с научными докладами. Там, где требовалось научное чутье, тонкий филигранный анализ, острый ум и смелое нестандартное решение, Шебалин был на высоте. По крайней мере, в эпиграфике ему равных не было.

Вижу, как сейчас: он стоит у доски с кусочком мела в руке и разбирает древнегреческую надпись. Иногда он обрывает себя на полуслове и впадает в задумчивость. В его молчании есть что-то магическое, завораживающее. В следующую минуту он сбрасывает с себя оцепенение, и все идет своим чередом: он пишет, объясняет, доказывает — негромко, не спеша, будто беседуя с самим собой.

К своим открытиям он относился спокойно и не заботился об их публикации. Кандидатскую диссертацию защитил поздно — и то под нажимом друзей. Изредка появлялись его короткие статьи о Феогниде, Ксенофонте, греческих надписях. Показательна его последняя статья: она уместилась в один абзац — ни одной красной строки. Он и жизнь свою выстроил как сплошной, без отступов, абзац.

Он умер, немного не дожив до пятидесяти семи лет. Это случилось утром, когда он собирался на работу.

Гаяна Галустовна Шарова собственноручно написала и повесила на факультете некролог. В нем сообщалось: скоропостижно скон-

чался филолог-классик Никита Виссарионович Шебалин — ученый, поэт и хороший человек.

...Мне часто вспоминается июнь 1973 года. Мы с Никитой в гостях у его друга Юры Вербы. Он — геолог. Живет напротив Шереметевского дворца.

Мы лежим на расстеленной на полу медвежьей шкуре и пьем вино. Юра рассказывает о своей работе и последней экспедиции в Среднюю Азию. Ночь пролетает в мгновение ока.

Когда мы выходим на набережную, с противоположной стороны Фонтанки уже всходит солнце и освещает верхние этажи домов. На улицах пусто. Город еще спит. Мы идем прямо к кладовским коням. Внезапно раздается высокий мелодичный звук. Он проплывает над нами, над рекой и замирает вдали. Мы оборачиваемся и видим Юру. Он стоит на балконе. В его руках труба. Она сияет, как солнце. Никита смеется и машет рукой.

Так и запомнилось. Раннее летнее утро, безлюдная набережная и на ней с высоко поднятой рукой молодой смеющийся Никита.